Птицелов

Артем Мирошкин



Артем Мирошкин

Птицелов

«Автор»
2026

Мирошкин А. О.

Птицелов / А. О. Мирошкин — «Автор», 2026

Пятнадцатилетнего Славу отправляют на лето к бабушке в деревню — «на оздоровление», пока родители делят квартиру. Без интернета, без друзей, среди пыли, блинов и старых сундуков. На чердаке он находит колыбельку. Крошечную, вырезанную из чёрного дерева, с птицей из медной проволоки и вороньих перьев. Игрушка тяжёлая, как свинец, и холодная, как лёд. Бабушка, увидев её, бледнеет и требует немедленно выбросить. Но Слава не слушает.В первую же ночь колыбелька начинает качаться сама. А потом бабушка исчезает.Чтобы вернуть её, Слава должен спуститься в Гнилые Ключи — место, где сто лет назад приносили жертвы, чтобы удержать землю. Там, в гнезде из проволоки и костей, его ждёт Птицелов — сущность, которая питается детской болью. И он уже чувствует запах Славы.Это не история про монстра. Это история про вину, которую мы носим с собой. И про то, как от неё освободиться.

© Мирошкин А. О., 2026
© Автор, 2026

Птицелов

Птицелов

Пролог. Последняя жертва

1913 год. Гнилые Ключи

Матрёна знала, что этой ночью умрёт.

Не потому, что боялась. Не потому, что предчувствовала. Просто знала — как знают, что завтра взойдёт солнце или что лёд на болоте выдержит до Крещения. В ней это было с самого утра: тихое, ровное, как дыхание. Она прожила семьдесят три года. Хватит.

Она сидела на крыльце своей избы и смотрела, как за лес садится солнце. Красное, тяжёлое, как кусок мяса. Небо над болотом наливалось лиловым, и в этом лиловом уже проступали первые звёзды — мелкие, бледные, будто кто-то просыпал соль на чёрную скатерть.

— Матрёна Спиридоновна, — позвали сзади. — Всё готово.

Она не обернулась. Знала, кто это. Федька Кривой — мужик лет сорока, с перебитым носом и глазами, которые никогда не смотрели прямо. Он был из «своих». Из тех, кто остался, когда остальные разбежались. Из тех, кто верил.

— Иди, — сказала Матрёна. — Я приду.

Федька потоптался на месте, потом ушёл. Скрипнула калитка. Залаяла собака — коротко, будто поперхнулась. И снова тишина.

Матрёна встала. Колени хрустнули. Она была старая, сухая, как прошлогодний стебель. Но руки ещё держали. И глаза ещё видели. И сердце ещё билось — ровно, спокойно, без страха.

Она зашла в избу. На столе лежала колыбелька.

Она вырезала её сама. Из чёрного дерева, которое росло только здесь, на болоте. Дерево было твёрдое, как камень, и тяжёлое, как свинец. Оно не горело в печи. Оно не тонуло в воде. Оно лежало в земле сотни лет и не гнило.

Матрёна работала три ночи. Ножом. Без спешки. Дно и стенки она исцарапала изнутри — глубоко, до самой сердцевины. Не для красоты. Для того, чтобы дерево запомнило. Боль. Страх. Крик.

Внутри колыбельки лежала птица.

Она была сделана из медной проволоки, которую Матрёна выменяла у цыган на прошлой ярмарке. Перья она собрала сама — вороньи, чёрные, тяжёлые. Она намотала их на проволоку так плотно, что они казались единым целым с каркасом. Птица сидела, нахохлившись. Глаза у неё были из двух кусочков агата — чёрных, гладких, как вода в колодце.

Матрёна взяла колыбельку в руки. Тяжёлая. Холодная. От неё пахло озоном — как перед грозой — и могильной землёй.

— Ну, — сказала она тихо. — Пора.

— --

Скит стоял в лесу, в получасе ходьбы от деревни. Раньше это была часовня. Потом — дом. Потом — то, чем он стал теперь.

Матрёна шла медленно, переставляя ноги, как старая лошадь. Тропинка была узкая, заросшая. Ветки хлестали по лицу. Она не замечала. Она думала о том, что будет дальше. Не о смерти. О том, что останется.

В скиту уже собрались. Человек двадцать. Мужики, бабы, дети. Все стояли молча, вокруг большого камня, который лежал в центре. На камне были вырезаны знаки — старые, стёртые. Матрёна не знала, что они значат. Знала только, что они работают.

Рядом с камнем стояла баба. Молодая, лет двадцати. Бледная, как полотно. В руках у неё был свёрток.

Свёрток плакал.

Матрёна подошла. Посмотрела на бабу. Та не подняла глаз. Только прижала свёрток к груди крепче. Как будто могла его защитить.

— Дай, — сказала Матрёна.

Баба не двинулась.

— Дай, — повторила Матрёна. — Ты знала, на что шла. Мы все знали.

Баба посмотрела на неё. В глазах — слёзы. И что-то ещё. Не страх. Ненависть.

— Он не виноват, — сказала баба. — Он маленький. Он ничего не сделал.

— Знаю, — сказала Матрёна. — Никто из них не виноват. Но если мы не отдадим его, болото заберёт всех. Тебя. Меня. Всю деревню. Ты хочешь, чтобы все умерли?

Баба молчала. Слёзы текли по щекам. Свёрток плакал громче.

Матрёна протянула руки. Баба медленно, как во сне, передала ей свёрток.

Ребёнок был тёплый. Маленький. Красный. Он кричал, зажмурившись, и его крик был такой громкий, такой живой, что Матрёна на секунду засомневалась.

А потом вспомнила. Прошлый год. Когда болото забрало троих детей за одну неделю. Когда вода в колодце почернела, а земля в огороде стала холодной, как лёд. Когда люди начали умирать — тихо, во сне, без причины.

Она вспомнила. И перестала сомневаться.

Она положила ребёнка в колыбельку. Он был маленький — как раз поместился. Она закрыла крышку. Заперла на медный крючок.

Ребёнок внутри затих. На секунду. Потом начал кричать снова. Громче. Отчаяннее. Он царапал дерево изнутри — Матрёна слышала, как скрипят его ногти. Как скребут. Как царапают.

Она поставила колыбельку на камень. Отступила на шаг. Подняла руки.

— Ключ, — сказала она. — Прими.

Федька Кривой подошёл. В руках у него был топор.

Матрёна закрыла глаза. Она не хотела видеть.

Удар был глухой. Короткий. Как будто топор ударил по дереву. Не по живому. По дереву.

Ребёнок затих.

Тишина была такой плотной, что Матрёна слышала, как стучит кровь в ушах. Как дышат люди вокруг. Как где-то далеко, в лесу, кричит ворона.

Она открыла глаза. Колыбелька стояла на камне. Крышка была цела. Замок на месте. Внутри — тишина.

А потом из колыбельки пошёл пар. Густой, белый. Холодный. Он поднимался вверх, к потолку, и в этом паре Матрёна увидела что-то. Тень. Высокую, сутулую. Слишком длинную для человека.

Тень наклонилась над колыбелькой. Долго смотрела. Потом выпрямилась. И исчезла.

Пар осел. Тишина стала обычной. Ночной. Лесной.

— Всё, — сказала Матрёна. Голос был хриплый. — Он принял.

Люди вокруг начали расходиться. Молча. Без слов. Баба, которая отдала ребёнка, стояла на коленях. Смотрела в землю. Не плакала. Просто смотрела.

Матрёна подошла к ней. Положила руку на плечо.

— Ты не виновата, — сказала она. — Никто не виноват. Так надо.

Баба подняла голову. Посмотрела на неё. И сказала — тихо, без злобы, просто как факт:

— Ты умрёшь сегодня.

Матрёна кивнула.

— Знаю.

— --

Казаки пришли перед рассветом.

Матрёна не спала. Сидела на крыльце, смотрела на лес. Ждала.

Она услышала их раньше, чем увидела. Топот копыт. Лязг железа. Голоса — грубые, весёлые, пьяные. Они ехали по деревне, и от их факелов небо становилось красным.

Федька Кривой выбежал на улицу. Закричал. Побежал. Упал. Матрёна не видела, как его убили. Только слышала — короткий вскрик, и всё.

Она встала. Зашла в избу. Взяла колыбельку. Тяжёлую. Холодную. Прижала к груди.

Она знала, что будет дальше. Знала, что казаки не оставят никого. Знала, что деревня сгорит. Знала, что колыбелька останется — потому что дерево не горит. Потому что дерево не тонет. Потому что дерево помнит.

Она вышла на крыльцо. Казаки уже были здесь. Трое. Молодые. С саблями. Один — с факелом.

— Старуха! — крикнул тот, с факелом. — Где ваши? Где скит?

Матрёна посмотрела на него. Спокойно. Без страха.

— Нет больше скита, — сказала она. — Нет больше деревни. Ничего нет.

Казак замахнулся. Она не отступила.

— Подожди, — сказал второй. Он смотрел на колыбельку в её руках. — Что это?

— Это, — сказала Матрёна, — наша память. Вы её не заберёте. Она сама вас заберёт.

Казак с факелом засмеялся. Подошёл. Взял колыбельку. Повертел в руках. Тяжёлая. Он удивился. Попробовал открыть крышку — не смог. Замок держал.

— Что за дрянь? — сказал он.

Матрёна улыбнулась. Первый раз за эту ночь.

— Смотри, — сказала она. — Не отрывай глаз.

Из колыбельки пошёл пар. Густой, белый. Холодный. Казак с факелом замер. Пар обвил его руку. Пополз вверх. К лицу.

Он закричал. Не от боли. От страха. Попытался выронить колыбельку — не смог. Пальцы примерзли к дереву. Он дёргал руку. Кричал. Пар шёл всё гуще. В паре Матрёна видела тень — высокую, сутулую. Тень стояла за казаком и смотрела.

Второй казак бросился к нему. Схватил за плечо. И тоже закричал. Пар перекинулся на него. Пополз по руке. По лицу. Внутрь.

Третий — тот, что был с саблей, — попятился. Перекрестился. Побежал.

Тень посмотрела ему вслед. Не двинулась. Просто смотрела.

Матрёна стояла на крыльце и видела, как умирают казаки. Медленно. Тихо. Без крови. Они падали на землю, и пар шёл от них, как от проруби. Они не кричали. Просто затихали. Как ребёнок в колыбельке.

А потом тень повернулась к Матрёне.

Она была высокая. Сутулая. Слишком длинная для человека. Лица не было. Только пар. И в паре — глаза. Чёрные. Как агат.

Матрёна не отступила. Она знала, что это. Знала, что так будет. Знала, что она — последняя.

— Ты забрал его, — сказала она. — Теперь забери и меня. Я готова.

Тень наклонила голову. Долго смотрела. Потом шагнула вперёд. И обняла её.

Холод был такой, что Матрёна не почувствовала боли. Только пустоту. Как будто из неё вынули всё — память, дыхание, жизнь. И оставили только лёгкость. Странную, непривычную. Как будто она стала паром.

Она упала на крыльцо. Тихо. Без стука. Колыбелька выпала из её рук и покатилась по ступенькам. Упала в грязь. Крышка открылась. Птица внутри дёрнулась. Качнулась на проволочной лапке. И замерла.

— --

Утром на пепелище стояла колыбелька.

Она не сгорела. Не закоптилась. Не покрылась пеплом. Она стояла в центре того, что было деревней, — маленькая, чёрная, с птицей внутри. Птица сидела, нахохлившись. Смотрела пустыми агатовыми глазами.

Ветер шевелил вороньи перья на её крыльях. Где-то далеко, в лесу, крикнула ворона. Одна. Потом тишина.

А потом из леса вышла женщина. Молодая, в простом платье, с котомкой за плечами. Она шла по пепелищу, оглядываясь. Увидела колыбельку. Остановилась.

Она не знала, что это. Не знала, что здесь было. Она просто увидела красивую старую вещь. И подумала: «Сгодится».

Она подняла колыбельку. Тяжёлая. Холодная. Она завернула её в платок и положила в котомку.

И пошла дальше. В сторону деревни, где жила её мать. Где росла её дочь. Где её ждали.

Она не знала, что несёт.

Но колыбелька знала.

Птица внутри сидела неподвижно. Но если бы кто-то прислушался, он услышал бы, как она поёт. Тихо. Без слов. Как поют детям.

Колыбельную.

Глава 1. Пыль и вороньи перья

Лето в деревне пахло одинаково уже лет триста: сухой пылью, нагретым на солнце сосновым тёсом и сладковатой гнильцой от дальнего болота. Для меня этот запах был запахом ссылки.

Родители отправили меня сюда «на оздоровление», пока сами делили квартиру и остатки уважения друг к другу. Оздоровление пахло бабушкиными блинами и отсутствием интернета.

Бабушка, Анна Петровна, суетилась на кухне, громыхая старыми кастрюлями. Я сидел за столом, безуспешно тыкая в экран смартфона. Сети не было. Wi-Fi бабушка считала «бесовским излучением».

— Хватит глаза ломать, — буркнула она, не оборачиваясь. — Поди на чердак слазь. Там в сундуке моём, зелёном, кофты шерстяные лежат. Ночи холодные стали, достань одну. Да пыли не наглотайся.

Чердак встретил меня полумраком и запахом нафталина. Узкая лестница скрипела так, будто жаловалась на каждую ступеньку. Свет фонарика выхватывал из темноты горы старой жизни: сломанные лыжи, стопки журналов «Крестьянка», трёхлитровые банки с засахарившимся вареньем.

Зелёный сундук стоял в самом дальнем углу, под скошенным потолком. Я поддел ножом дужку проржавевшего замка — она отлетела с тихим хрустом. Внутри пахнуло лавандой и временем. Сверху лежали те самые кофты — колючие, тяжёлые. Я уже собирался закрыть сундук, как заметил на самом дне что-то твёрдое, угловатое, не похожее на ткань.

Я осторожно, двумя пальцами, вытащил это.

Это была колыбелька. Совсем крошечная, с ладонь. Вырезанная из тёмного, почти чёрного дерева. Работа была грубой, топорной, но в этой грубости чувствовалась какая-то древняя, пугающая сила. Дно и стенки были испещрены мелкими, глубокими царапинами — словно кто-то годами точил о дерево ногти изнутри. Внутри, на донышке, лежала игрушка.

Птица.

Она была сделана из скрученной медной проволоки. Перья — настоящие, вороньи, тускло блестящие в свете фонаря — были намотаны на металл так плотно, что казались единым целым с каркасом. Птица сидела, нахохлившись, и смотрела на меня пустыми глазницами из чёрного агата. От неё не пахло плесенью. От неё пахло озоном, как после удара молнии, и могильным холодом.

Мне стало не по себе. Игрушка была слишком тяжёлой для своего размера, словно сделана из свинца. Я провёл пальцем по крылу птицы. На ощупь — холодный, гладкий камень.

— Нашёл? — раздался снизу голос бабушки. — Слав, ты там живой?

Я вздрогнул так, что ударился головой о стропило. Резко обернулся к колыбельке. Птица в ней едва заметно качнулась на своей проволочной лапке. Я сидел неподвижно. Сквозняка на чердаке не было.

— Живой! — крикнул я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Нашёл! Сейчас спущусь!

Выбрался на свет, щурясь. Бабушка вытирала руки о передник.

— Чего бледный такой? Пыли надышался?

— Там… сундук твой. В углу. Я там штуку одну нашёл, — я старался говорить спокойно. — Вроде колыбелька. Старая.

Анна Петровна замерла. Рука с полотенцем застыла в воздухе. Улыбка медленно сползла с её лица, сменившись странным, испуганным выражением. Она оглянулась на тёмный проём чердачной лестницы, словно боялась, что оттуда кто-то смотрит.

— Выкинь, — тихо, почти беззвучно сказала она. — Слышишь, Слав? Выкинь немедленно. В мусор. Или в печку.

Я опешил. Бабушка никогда не говорила «выкинь», особенно про старые вещи, — она была настоящей Плюшкиной: хранила даже обёртки от конфет.

— Почему? Она же старинная. Красивая…

— В печку! — Бабушка подошла ко мне вплотную и схватила за предплечье. Пальцы у неё были как сталь. — Не неси в дом эту дрянь! Она на чердаке тридцать лет лежала, и пусть там лежит! Поставь где взял!

Её страх был таким искренним, таким животным, что я невольно отшатнулся.

— Ладно-ладно, — пробормотал я, пятясь к лестнице. — Успокойся. Я просто спросил.

Я спустился, но не пошёл на кухню. Юркнул в свою комнату — бывшую детскую самой бабушки — и закрыл дверь на щеколду. Бабушкин иррациональный страх только подогрел моё собственное любопытство. Если старушка так психует из-за деревяшки, значит, там что-то интересное.

Я достал колыбельку. Поставил на стол, прямо под старую лампу. Птица внутри сидела нахохлившись. Я снова провёл пальцем по крылу. Ледяной. От предмета веяло такой тяжёлой, глухой древностью, что по рукам побежали острые мурашки.

Ночью мне снилась вода. Чёрная, густая, которая пахла ржавчиной и тиной. Я тонул в ней, а со дна, медленно перебирая лапами, ко мне поднималась ворона с человеческими руками.

Проснулся от звука. Скрип… Скрип…

Ритмичный, тихий. Дерево тёрлось о дерево. Я открыл глаза. В комнате было темно, только с улицы падал мертвенный свет уличного фонаря. Прислушался. Звук шёл со стола. Скрип… Скрип…

Я сел в кровати. Сердце заколотилось где-то в горле. Медленно, стараясь не дышать, повернул голову. Колыбелька на столе качалась. Сама по себе. Вперёд. Назад. Ровно, как метроном. Раз-два. Раз-два.

Я протянул руку к выключателю настольной лампы. Щёлк. Свет ударил по глазам. Колыбелька застыла. В ту же секунду она качнулась в последний раз — сильно, резко — и остановилась, замерла в крайней точке, словно невидимая рука просто разжала пальцы.

Я сидел, боясь пошевелиться. Воздух в комнате был ледяным. Я выдохнул. В воздухе перед моим лицом образовалось густое облачко пара.

— Слав! — Голос бабушки раздался прямо за дверью моей комнаты. — Чего свет жжёшь? Электричество мотаешь!

Я вздрогнул. Она стояла там. Слышала ли она скрип? Видела ли она пар? Я быстро смахнул выступившие от холода слёзы и постарался сделать голос сонным:

— Приснилось. Сейчас выключу.

Я не стал выключать свет. Лёг, накрывшись одеялом с головой, и до самого утра слушал, как в звенящей тишине дома мерно поскрипывает дерево. Ритм был медленным, убаюкивающим. И от этого становилось только страшнее.

Глава 2. Битая посуда

Я не спал до рассвета. Сидел на кровати, обхватив колени руками, и смотрел на колыбельку. Лампу так и не выключил. В жёлтом свете пыльного абажура птица казалась обычным старым хламом. Днём, при солнце, всё ночное всегда кажется глупым и преувеличенным.

Я пытался убедить себя, что это просто сквозняк, или я сам задел стол во сне, или дерево рассохлось. Но я знал правду. Я чувствовал этот холод. И я видел пар.

В семь утра на кухню спустилась бабушка. Она двигалась нарочито громко: гремела заслонкой печи, с силой ставила чайник, шуршала пакетами. Она делала всё, чтобы заполнить тишину звуками нормальной жизни.

Я вышел из комнаты. Колыбельку оставил на столе, накрыв старой футболкой. Словно это могло спрятать зло.

— Доброе утро, — сказал я как можно будничнее.

Бабушка не обернулась. Она стояла у раковины спиной ко мне и чистила картошку. Нож в её руке ходил с такой скоростью, что казалось, она хочет изрубить клубни в кашу.

— Угу, — буркнула она.

Я налил себе чай. Сел за стол так, чтобы видеть накрытую колыбельку краем глаза.

— Ба, а что это за вещь вообще? — спросил я, стараясь звучать равнодушно. — Старинная?

Нож в руках Анны Петровны замер. Секунду она стояла неподвижно. Затем медленно положила нож на стол — лезвием к себе, рукояткой ко мне. Это был жест защиты.

— Дрянь это, а не вещь, — глухо сказала она, глядя в стену. — Прабабка моя, Игнатьевна, привезла. Говорила, с пожарища нашла. Там деревня одна была, Гнилые Ключи называлась. Сгинула вся, за одну ночь. Лесом затянуло. А эту колыбельку она подобрала. Сказала: «Спрячь, Нюра, и не смотри. А если заплачет кто — уши затыкай».

Я сглотнул.

— Она… она качалась ночью.

Бабушка резко обернулась. Её глаза были красными, воспалёнными. Она не выглядела удивлённой. Она выглядела уставшей.

— Я слышала, — тихо призналась она. — Я молитвы читала. Всю ночь. Пока ты спал. Оно тебя не тронуло?

— Нет, — помотал я головой. — Оно просто… качалось. И холодно было.

— Не «оно», — прошипела бабушка, наклоняясь ко мне через стол. — Птицелов это. Он детей забирает. Тех, кто без защиты. Кровь тянет. Игнатьевна потому и спрятала, что моя мать, её дочь, заболела тогда. Горела вся, бредила. Еле выходили. А колыбель эту — в сундук. И замок. А ты… ты зачем его сорвал? Я же сказала — выкинь!

В её голосе не было злости. Только животный, первобытный ужас.

— Я не знал! — Я вскочил. — Я не знал, что это! Я думал, просто старая штука!

Бабушка тяжело опустилась на табуретку. Она вдруг показалась мне очень старой и маленькой.

— Теперь он знает, — выдохнула она. — Теперь он здесь. Он запах твой учуял. Молодая кровь.

На кухне повисла тишина, нарушаемая только тиканьем часов. Я смотрел на накрытую футболкой колыбельку. Мне хотелось схватить её, бежать к реке и утопить. Но страх парализовал ноги.

— Ба, а оно… оно может выйти? — прошептал я.

— Оно уже вышло, — сказала бабушка. — Оно в стенах. Дом уже не тот.

В этот момент наверху, в моей комнате, что-то с оглушительным звоном разбилось.

Мы оба вздрогнули.

— Лампа, — прошептал я. — Я забыл выключить. Наверное, упала…

Я бросился к лестнице. Бабушка попыталась схватить меня за рукав, но не успела. Я взлетел на второй этаж.

Дверь в мою комнату была приоткрыта. Лампа стояла на столе. Она была цела. А вот зеркало, висевшее на дверце старого шифоньера, было покрыто густой сеткой трещин, словно паутиной. Но паутина была странной: линии шли не от центра, а извивались, складываясь в подобие птичьего силуэта.

Я шагнул внутрь. Пол был ледяным. Посмотрел под ноги. Вся поверхность старого деревянного пола была покрыта тонким, искрящимся слоем изморози. Иней был везде: на половиках, на ножках кровати, на моих брошенных кроссовках. В комнате было градусов десять мороза.

— Слава! — крикнула снизу бабушка. — Ты нашёл?

Я не ответил. Мой взгляд был прикован к столу. Колыбелька больше не была накрыта. Футболка валялась на полу. А птица… птица сидела на самом краю колыбельки, повернув голову в сторону двери. Её проволочные крылья были слегка расправлены.

И тут я услышал звук. Тихий, ритмичный, доносившийся со стороны окна. Тук. Тук. Тук.

Я медленно, боясь, что ноги примерзнут к полу, повернул голову. Окно было закрыто. Между рамами старого двойного переплёта билась муха. Огромная, чёрная, с синеватым отливом. Она билась о стекло с такой силой, что звук отдавался в висках. Тук. Тук. Тук.

Я сделал шаг назад. В этот момент птица в колыбельке прыгнула.

Она не взлетела. Она просто перелетела расстояние в два метра — чёрная, смазанная тень — и с сухим стуком приземлилась на тумбочку у кровати. Она сидела, глядя на меня агатовыми глазами. Она не моргала.

Я закричал.

Рванулся к выходу, поскользнулся на изморози и упал, больно ударившись коленом. Полз к двери, не сводя глаз с птицы. Она сидела неподвижно. Я вывалился в коридор, захлопнул дверь и прижался к ней всем телом.

— Слава! Что там? — Бабушка уже поднималась по лестнице, тяжело дыша.

— Там… там… — Я не мог вдохнуть. — Окно… муха… она прыгнула…

Бабушка поднялась на площадку. Посмотрела на покрытую инеем дверь моей комнаты. Затем посмотрела на меня.

— Она не прыгнула, — тихо, мёртвым голосом сказала Анна Петровна. — Она перелетела. Птицелов не ходит по земле, мальчик. Он летает.

Внизу, в кухне, что-то громко и тяжело упало. Раздался звук льющейся воды.

— Господи, молоко! — всполошилась бабушка, тут же забыв про страх. — Слава, сиди тут! Не смей заходить в комнату! Я запрещаю!

Она сбежала вниз. Я остался сидеть на ледяном полу коридора. Меня трясло. Я слышал, как внизу бабушка ругается и гремит кастрюлями. Обыденность звуков пугала больше, чем тишина. Словно мир сошёл с ума, и только кухня пыталась жить по расписанию.

Я поднял глаза. На стене коридора, прямо над моей головой, висела старая семейная фотография в рамке. Снято лет десять назад: я маленький, на руках у отца, рядом стоит улыбающаяся бабушка.

Фотография висела криво. Я смотрел на неё, и вдруг край рамки начал покрываться инеем. Тонким, белым, как на дверях моей комнаты. Иней пополз вверх по стеклу. А потом стекло со звоном лопнуло. Осколки брызнули, но не упали. Они зависли в воздухе, медленно вращаясь, как снег в стеклянном шаре.

Я вскочил на ноги. Больше не мог здесь оставаться. Бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени.

— Ба, мы уезжаем! — закричал я. — Прямо сейчас! Собирай вещи!

Ворвался в кухню и замер.

Бабушка стояла у плиты. Она не смотрела на меня. Она смотрела в окно. Руки её были по локоть в молоке — она уронила бидон. Белая лужа растекалась по чистому полу. По стеклу окна, с той стороны, медленно, цепляясь когтями за дерево рамы, сползал силуэт. Высокий, сутулый. Слишком длинный для человека. Я не видел лица, но я видел, как от дыхания этого существа на стекле нарастает толстая корка льда.

Бабушка перекрестилась. Существо за окном перестало сползать. Оно просто висело на стекле, прилипнув к нему, как муха. Оно подняло «голову» и посмотрело прямо на меня.

А затем оно прошло сквозь стекло.

Оно не разбило его. Стекло осталось целым. Оно просто шагнуло сквозь него в кухню, принеся с собой волну такого холода, что молоко на полу мгновенно замёрзло, превратившись в белую, острую крошку.

Существо выпрямилось. Оно доставало головой почти до потолка. Оно сделало шаг к бабушке.

Я закричал так, как не кричал никогда в жизни.

Глава 3. Исповедь

Я не помню, как выбежал из дома. В памяти остались только осколки стекла, пар изо рта и чёрная тень, нависающая над бабушкой. Я рванул в сени, вышиб плечом входную дверь и вылетел под ледяной дождь. Не оглядывался. Слышал за спиной рёв твари и звон бьющейся посуды, но не смел повернуть голову.

Бежал через огород, скользя в грязи. Ноги сами несли меня к соседнему участку. Дом Степаныча стоял на отшибе, крепкий, с высоким забором. Свет в окнах горел.

Я ударил в калитку кулаком, потом плечом, потом лбом.

— Дядь Вань! Степаныч! Открой! — Голос сорвался на визг.

Щёлкнул замок. На пороге возник сосед — в тельняшке, с двустволкой в руках. Увидев меня — белого, трясущегося, с окровавленной рукой, — он мгновенно вскинул ружьё.

— Кто там? Что стряслось, оглашенный?

— Там… — Я ткнул пальцем за спину, глотая воздух. — Оно… оно мою бабку… забрало.

Степаныч не стал спрашивать. Схватил меня за шиворот, втащил во двор, захлопнул тяжёлую калитку и задвинул мощный дубовый засов.

— В дом, быстро! — рявкнул он.

Мы ввалились в сени. Старик задвинул внутренний брус.

— На пол! Лицом вниз! Руки покажи!

Я рухнул на грязные доски, всё ещё сжимая в руке колыбельку. Птица впилась проволочными когтями так глубоко, что я боялся разжать пальцы.

— Что в руке? — Степаныч ткнул носком сапога в моё запястье.

— Не могу… — прохрипел я. — Оно… держит.

Старик наклонился, посмотрел на колыбельку и грязно выругался.

— Птицелов. Дурак малолетний. Я же говорил — выкинь в болото. Зачем принёс?

— Я не знал… — Слёзы текли по лицу, смешиваясь с грязью и дождём. — Я просто нашёл…

Степаныч достал из кармана штанов большой охотничий нож.

— Руку держи ровно, — скомандовал он. — Щас будем отрывать.

— Не надо! — Я попытался отдёрнуть руку.

— Сиди смирно! — Старик ловким, профессиональным движением просунул лезвие между проволокой и кожей. — Это не она держит, это ты вцепился. Страх твой держит.

Он надавил. Раздался хруст. Проволока поддалась. Я вскрикнул. Кровь хлынула из глубоких проколов.

— Держи, — Степаныч плеснул водкой из бутылки на рану. — Терпи. Антисептик.

Я заорал. В нос ударил резкий запах спирта.

Старик оторвал кусок бинта и профессионально замотал руку.

— А теперь рассказывай. Какого лешего ты вообще на чердак полез? Я же сказал Анне — дом продавать надо, уезжать. Гнилая здесь земля.

— Я нашёл её… Она красивая была. Я не знал, что она… опасная, — я шмыгнул носом. — Ба сказала, что прабабка её с пожарища принесла. Деревня какая-то была, Гнилые Ключи…

Степаныч, достававший зелёнку, замер.

— Гнилые Ключи? — переспросил он тихо. — Не было таких деревень. Это место так называли. Там, где сейчас пустошь за дальним лесом. Там при царе ещё скит стоял. Сектанты. Говорили, они детей в жертву болотному духу приносили, чтобы земля их держала. А потом казаки пришли… Всех порубили. Крови там было — Дон позавидует. С тех пор там птицы не поют. И дома ставить нельзя — утягивает.

Старик тяжело вздохнул, кряхтя, поднялся и пошёл в комнату. Я слышал, как он снимает трубку стационарного телефона. В современных деревнях такие были редкостью, но Степаныч был старой закалки.

— Алло, отец Валерий? — Голос старика стал серьёзным, лишённым привычной хрипотцы. — Это Степаныч. Да, знаю, поздно. Слушай сюда. У меня тут беда. У Анны, соседки моей. Птицелов проснулся. (пауза) Да, тот самый. Мальчишка её, Слава, притащил с чердака колыбельку их. Игнатьевскую. Да, ту самую… Нет, Анна… она плохая совсем. Слава ко мне прибежал, а она там осталась. Он видел, как её уводят. (пауза, Степаныч слушал) Понял. Кровь. Да, мальчишка поранился об неё. Я ему руку перевязал. Полынью углы завтра обсыплю. Жду.

Степаныч положил трубку. Вернулся в кухню, сел за стол, достал из пачки «Беломор» и закурил. Руки у него слегка дрожали.

— Едет, — сказал он, выпуская дым. — Сказал, часа два по такой грязи. Велел сидеть тихо. Железо этой твари не нравится, а у меня тут в подполе цепи старые, монастырские. Пересидим.

Я посмотрел на свои колени. Чувствовал себя куском грязи. Я бросил бабушку. Я спасся сам, а её оставил там, с этим… Перевёл взгляд на угол комнаты. Колыбелька всё ещё поскрипывала.

— Дядь Вань… — тихо позвал я. — Это я виноват.

— Ты, — не стал врать Степаныч. — Но и я хорош. Видел же, что ты её в руках держал, когда прибежал. Надо было заставить бросить.

— Она… она там стояла, — голос дрогнул. — В дверях. Глаза чёрные. Просто стояла и смотрела.

— Это он её носит, — жёстко сказал Степаныч. — Как штаны. Птицелов — он не зверь. Он — крючок. Он боль жрёт. А у Анны твоей её много было. Муж пил, сын в тюрьме… Он её давно обхаживал. Потому и пришла за тобой сюда. Ты — её слабость. И самая сладкая добыча.

Мы сидели в тишине. За окном бушевала буря. В углу поскрипывала колыбелька. Степаныч курил. Прошло минут двадцать. Я начал клевать носом. Шок, адреналин и тепло от печки делали своё дело.

Внезапно тишину дома разорвал громкий, требовательный звонок. Звонил стационарный телефон, стоявший на тумбочке.

Степаныч замер. Я вжался в стену. Телефон продолжал звонить. Громко, настойчиво.

Старик медленно перекрестился.

— Отец Валерий, — прошептал Степаныч. — На связи. Говорит, подъезжает.

Но я смотрел не на телефон. Я смотрел на колыбельку. Она больше не скрипела. Она пела. Тихую, жуткую колыбельную без слов. Звук шёл прямо из дерева.

Глава 4. Железо и дорога

— Время, — Степаныч затушил папиросу о подошву и встал. — Поехали. До дома Анны тут рукой подать, но по такой грязище…

Отец Валерий поднялся. Это был не благообразный старец с иконы. Это был мужик лет пятидесяти, широкоплечий, в тяжёлой непромокаемой куртке поверх чёрной рясы. В руках он держал не Библию, а объёмный брезентовый баул, от которого пахло медью и сыростью.

— Показывай, где она, — бросил он, проходя в комнату.

— Там, — Степаныч мотнул головой в сторону окна. — У Анны. Мальчишка вот… руку распахал об игрушку.

Священник подошёл к столу и расстегнул молнию на бауле.

— Кровь, — констатировал он, не глядя на меня. — Плохо. Она чует кровь за километр. Она забрала старуху, чтобы выманить его из-под защиты дома. Теперь он «ничей».

Я вжался в стену.

— Хватит жути, — буркнул Степаныч. — Что делать будем?

— Жечь тут нечего, — отец Валерий начал выкладывать содержимое. — Это сущность. Плотная. Ей нужна материя.

На стол легли две связки железных цепей, старый серебряный потир, пучок сухих трав, фонарь-прожектор и пистолет.

— Железо её держит, — отец Валерий взял цепь. — Серебро — жжёт. Но убить нельзя. Можно только разорвать связь с якорем.

— Колыбелька, — подал я голос. — Она в углу поёт. — Сглотнул.

Отец Валерий подошёл к углу, посмотрел на колыбельку и быстро начертил в воздухе знак. Я не видел его чётко, но воздух в углу пошёл рябью, а пение на секунду сбилось с ритма.

— Она учится, — тихо сказал священник. — Она больше не просто скрипит. Она копирует жизнь.

— Поехали, — Степаныч застегнул куртку. — Время.

Мы вышли в бурю. Дождь со снегом хлестал по лицу. Уазик отца Валерия — старый, военный «козлик» — стоял у забора, рыча мотором. Степаныч сел за руль. Священник — рядом. Я забрался назад, прижимая к груди перевязанный кулак. На сиденье рядом со мной положили тяжёлую железную цепь.

Ехали молча. Дворники едва справлялись с потоком воды. Степаныч включил фары, но свет тонул в белой мгле, освещая лишь сплошную стену летящей грязи. Лес по обочинам казался живым — чёрные ветки деревьев хлестали по стёклам, словно пытаясь достать машину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.